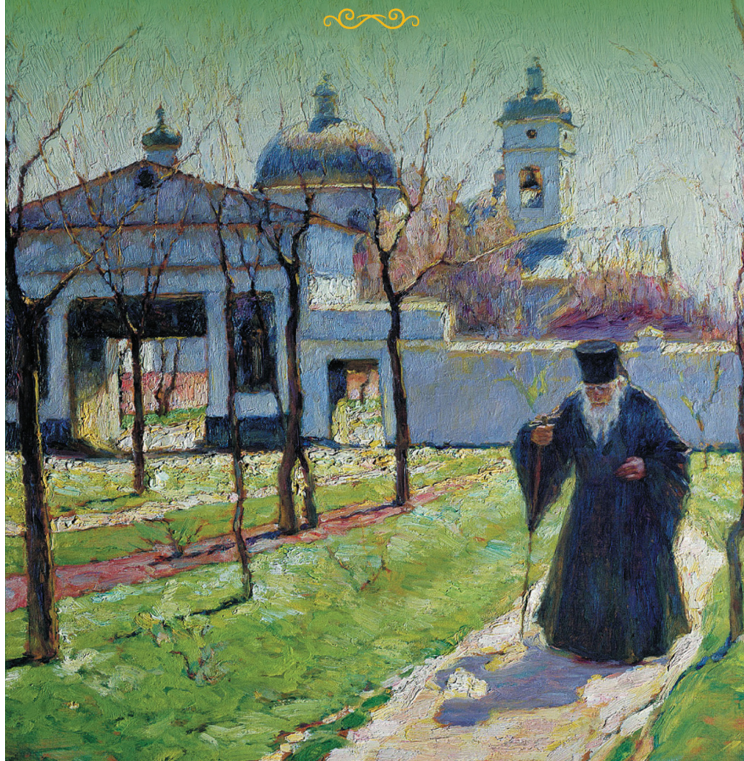


Духовная проза

БАТЮШКА

*Церковные служители
в русской классике*



Светлана Сергеевна Лыжина
Батюшка. Церковные
служители в русской
классике (сборник)
Серия «Духовная проза (Вече)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39150183

*Батюшка. Церковные служители в русской классике / [сост. С. С. Лыжина]: ООО «Издательство «Вече»; Москва; 2018
ISBN 978-5-4484-7526-9*

Аннотация

В сборник вошли произведения классиков отечественной литературы: Н. Лескова, А. Чехова, Л. Андреева и других. Проза, различная по форме, сюжету и стилю, объединена одной общей темой: в центре повествования – служители Русской Православной Церкви, показанные простыми и человечными, а потому близкими и понятными для каждого. Они проповедуют, наставляют, а если молчат, то сама их жизнь может стать уроком, примером, и даже случается, что одним своим присутствием они способствуют возвращению человека на истинный путь – путь к добру и правде.

Содержание

От издателя	5
Николай Семенович Лесков	7
Некрещеный поп	8
Конец ознакомительного фрагмента.	53

**Батюшка. Церковные
служители в
русской классике
(сост. Светлана Лыжина)**

© Лыжина С. С., составление, вступительная статья, 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

* * *

От издателя

Как ни парадоксально, но для многих современных людей знакомство с церковной жизнью начинается не с посещения храма и даже не с чтения священных текстов, а с чтения художественных произведений, где присутствуют персонажи, имеющие отношение к церкви. И впечатление от персонажей неизбежно влияет на отношение читателя к реальной действительности.

Если впечатление негативное, читатель верит всему, что говорят плохого и об истории церкви, и о церкви современной. Если впечатление благоприятное, то читатель, возможно, захочет открыть Библию и другие книги, которые до этого казались ему сложными для понимания.

Художественная литература, будь она реалистической, фантастической или мистической, часто привлекает своей простотой, но «просто» не значит «плохо», даже если речь идет о церкви. Легкий стиль, яркие диалоги, шутки, занятные описания быта помогают забыть о предубеждении, что церковная жизнь стороннему наблюдателю непонятна и скучна.

Увы, не все авторы помнят о том, что читатель верит художественному вымыслу почти так же, как сообщению в новостях. Это касается и вымышленных историй, связанных с жизнью церкви. Зачастую в художественном тексте мы

встречаем то, что даже теоретически не могло бы произойти на самом деле, потому что не соответствует реалиям описываемой эпохи и церковным правилам. Но неподготовленный читатель не знает этих правил. И верит. И в итоге множатся шаблоны и ярлыки, которые во многом несправедливы.

Собранные в этой книге произведения художественной прозы не случайно выбраны именно из классики. Авторы-классики ощущали свою ответственность перед читателем, считали необходимым не просто развлечь его, но и научить чему-то, напомнить о важном. Вот почему они стремились говорить правду, отображать действительную жизнь, а не следовать шаблонам, пусть и популярным, и во многом использовали собственный жизненный опыт.

Русская классика – это именно те тексты, которым можно смело верить. И через них составить представление о церковнослужителях, которое, конечно, не заменит личного общения, но все равно будет объективнее, чем та картина, которая рисуется отечественной литературой в целом.

Николай Семенович Лесков

1831–1895

Некрещеный поп

(Легендарный случай)

Посвящается Федору Ивановичу Буслаеву

Эта краткая запись о действительном, хотя и невероятном событии посвящается мною досточтимому ученому, знатоку русского слова, не потому, чтобы я имел притязание считать настоящий рассказ достойным внимания как литературное произведение. Нет, я посвящаю его имени Ф. И. Буслаева потому, что это оригинальное событие уже теперь, при жизни главного лица, получило в народе характер вполне законченной легенды; а мне кажется, проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, «как делается история».

I

В своем приятельском кружке мы остановились над следующим газетным известием:

«В одном селе священник выдавал замуж дочь. Разумеется, пир был на славу, все подписи порядком и веселились по-сельскому, по-домашнему. Между прочим, местный диакон оказался любителем хореографического искусства и, празднуя веселье, “веселыми ногами” в одушевлении отхватал пе-

ред гостями трепака, чем всех привел в немалый восторг. На беду на том же пиру был благочинный, которому такое деяние диакона показалось весьма оскорбительным, заслуживающим высшей меры взыскания, и в ревности своей благочинный настрочил донос архиерею о том, как диакон на свадьбе у священника “ударил трепака”. Архиепископ Игнатий, получив донос, написал такую резолюцию:

Диакон N «ударил трепака»...

Но трепак не просит;

Зачем же благочинный доносит?

Вызвать благочинного в консисторию и допросить.

Дело окончилось тем, что доноситель, проехав полтора ста верст и немало израсходовав денег на поездку, возвратился домой с внушением, что благочинному следовало бы на месте словесно сделать внушение диакону, а не заводить кляуз из-за одного – и притом исключительного случая».

Когда это было прочитано, все единогласно поспешили выразить полное сочувствие оригинальной резолюции преосв. Игнатия, но один из нас, г. Р., большой знаток клирового быта, имеющий всегда в своей памяти богатый запас анекдотов из этой своеобразной среды, вставил:

– Хорошо-то это, господа, пускай и хорошо: благочинному действительно не следовало «заводить кляуз из-за одного – и притом исключительного случая»; но случай случаю

рознь, и то, что мы сейчас прочитали, приводит мне на память другой случай, донося о котором, благочинный поставил своего архиерея в гораздо большее затруднение, но, однако, и там дело сошло с рук.

Мы, разумеется, попросили своего собеседника рассказать нам его затруднительный случай и услышали от него следующее:

– Дело, о котором по вашей просьбе надо вам рассказывать, началось в первые годы царствования императора Николая Павловича, а разыгралось уже при конце его царствования, в самые суматошные дни наших крымских неудач. За тогдашними, большой важности, событиями, которые так естественно овладели всеобщим вниманием в России, казусное дело о «некрещеном попе» свертелось под шумок и хранится теперь только в памяти остающихся до сих пор в живых лиц этой замысловатой истории, получившей уже характер занимательной легенды новейшего происхождения.

Так как дело это в своем месте весьма многим известно и главное лицо, в нем участвующее, до сих пор благополучно здравствует, то вы должны меня извинить, что я не буду указывать место действия с большою точностью и стану избегать называть лица их настоящими именами. Скажу вам только, что это было на юге России, среди малороссийского населения, и касается некрещеного попа, отца Саввы, весьма хорошего, благочестивого человека, который и до сих пор благополучно здравствует и священствует и весьма любим и

начальством, и своим мирным сельским приходом.

Кроме собственного имени отца Саввы, которому я не вижу нужды давать псевдоним, все другие имена лиц и мест я буду ставить иные, а не действительные.

II

Итак, в одном малороссийском казачьем селе, которое мы, пожалуй, назовем хоть Парипсами, жил богатый казак Петро Захарович, по прозвищу Дукач. Человек он был уже в летах, очень богатый, бездетный и грозный-прегрозный. Не был он мироедом в великорусском смысле этого слова, потому что в малороссийских селах мироедство на великорусский лад неизвестно, а был, что называется, дукач – человек тяжелый, сварливый и дерзкий. Все его боялись и при встрече с ним открещивались, поспешно переходили на другую сторону, чтобы Дукач не обругал, а при случае, если его сила возьмет, даже и не побил. Родовое его имя, как это нередко в селах бывает, всеми самым капитальным образом было позабыто и заменено уличною кличкою или прозвищем – «Дукач», что выражало его неприятные житейские свойства. Эта обидная кличка, конечно, не содействовала смягчению нрава Петра Захарыча, а, напротив, еще более его раздражала и доводила до такого состояния, в котором он, будучи от природы весьма умным человеком, терял самообладание и весь рассудок и метался на людей, как бесноватый.

Стоило завидевшим его где-нибудь играющим детям в перепуге броситься вроссыпь с криком: «ой, лышенько, старый Дукач иде», как уже этот перепуг оказывался не напрасным: старый Дукач бросался в погоню за разбегающимися ребятами со своею длинною палкою, какую приличествует иметь в руках настоящему степенному малороссийскому казачу, или со случайно сорванною с дерева хворостиною. Дукача, впрочем, боялись и не одни дети; его, как я сказал, старались подальше обходить и взрослые – «абы до чего не прицепився». Такой это был человек. Дукача никто не любил, и никто ему не сулил ни в глаза, ни за глаза никаких благожеланий, напротив, все думали, что небо только по непонятному упущению коснит¹ давно разразить сварливого казака вдребезги так, чтобы и потроха его не осталось, и всякий, кто как мог, охотно бы постарался поправить это упущение Промысла, если бы Дукачу, как назло, отовсюду незримо «не перло счастье». Во всем ему была удача – все точно само шло в его железные руки: огромные стада его овец плодились, как стада Лавановы при досмотре Иакова². Для них уже вблизи и степей недоставало; половые³ круторогие волы Дукача сильные, росли и тоже чуть не сотнями пар ходили в новых возах

¹ Коснит – мешкает.

² ...стада Лавановы при досмотре Иакова – отсылка к библейской истории о том, как Иаков, один из родоначальников еврейского народа, работал на своего тестя Лавана, пас его стада. Благодаря Божьей милости количество скота невероятно увеличилось.

³ Половые – светло-рыжие или серые с желтым отливом.

то в Москву, то в Крым, то в Нежин; а пчелиная пасека в своем липняке, в теплой запуши⁴ была такая, что колодки надо было считать сотнями. Словом, богатство по казачьему званию – несметное. И за что все это Бог дал Дукачу? Люди только удивлялись и успокаивали себя тем, что все это не к добру, что Бог, наверное, этак «манит» Дукача, чтобы он больше возвеличался, а потом его и «стукнет», да уж так стукнет, что на всю околицу слышно будет.

Ждали добрые люди этой расправы над лихим казаком с нетерпением, но годы шли за годами, а Бог Дукача не стучал. Казак все богател и кичился, и ниоткуда ничто ему достойное его лютовства не угрожало. Общественная совесть была сильно смущена этим. Тем более что о Дукаче нельзя было сказать, что ему отплатится на детях: детей у него не было. Но вот вдруг старая Дукачиха стала чего-то избегать людей, – она конфузилась, или, по-местному, «соромылась» – не выходила на улицу, и вслед за тем по околице разнеслась новость, что Дукачиха «непорожня».

Умы встрепонулись, и языки заговорили: давно утомленная ожиданием общественная совесть ждала себе близкого удовлетворения.

– Що то буде за дытына! що то буде за дытына антихристова? И чи воно родыться, чи так и пропаде в животи, щоб ему не бачыть билого свиту!

Ждали этого все с нетерпением и наконец дождались:

⁴ Запушь – укромное место.

в одну морозную декабрьскую ночь в просторной хате Дукача, в священных муках родового страдания, явился ребенок.

Новый жилец этого мира был мальчик, и притом без всякого зверовидного уродства, как хотелось всем добрым людям; а, напротив, необыкновенно чистенький и красивый, с черною головкою и большими голубыми глазками.

Бабку Керасиху, которая первая вынесла эту новость на улицу и клялась, что у ребенка нет ни рожков, ни хвостика, оплевали и хотели побить, а дитя все-таки осталось хорошенькое-прехорошенькое, и к тому же еще удивительно смиренное: дышало себе потихонечку, а кричать точно стыдилось.

III

Когда Бог даровал этого мальчика, Дукач, как выше сказано, был уже близок к своему закату. Лет ему в ту пору было, может быть, более пятидесяти. Известно, что пожилые отцы горячо принимают такую новость, как рождение первого ребенка, да еще сына, наследника имени и богатства. И Дукач был этим событием очень обрадован, – но выражал это, как позволяла ему его суровая натура. Прежде всего он призвал к себе жившего у него бездомного племянника по имени Агап и объявил ему, чтобы он теперь уже не дул губу на дядино наследство, потому что теперь уже Бог послал к

его «худоби»⁵ настоящего наследника, а потом приказал этому Агапу, чтобы он сейчас же снарядился в новый чепан⁶ и шапку и готовился, чуть забрезжит заря, идти с посылом до заезжего судейского паныча и до молодой поповны – звать их в кумовья.

Агапу тоже уже было лет под сорок, но он был человек загнанный и смотрел с виду цыпленком с зачичкавшеюся⁷ головенкою, на которой у него сбоку была пресмешная лысина, тоже дело руки Дукача.

Когда Агап в отрочестве осиротел и был взят в Дукачев дом, он был живой и даже шустрый ребенок и представлял для дяди ту выгоду, что знал грамоте. Чтобы не кормить даром племянника, Дукач с первого же года стал посылать его со своими чумаками в Одессу. И когда Агап один раз, возвратясь домой, сдал дяде отчет и показал расход на новую шапку, Дукач осердился, что тот смел самовольно сделать такую покупку, и так жестоко побил парня по шее, что она у него очень долго болела и потом навсегда немножко скособочилась; а шапку Дукач отобрал и повесил на гвоздь, пока ее моль съест. Кривошей Агап ходил год без шапки и был у всех добрых людей «посмихачем». В это время он много и горько плакал и имел досуг надуматься, как помочь своей нужде. Сам он уже давно отупел от гонений, но люди наговорили

⁵ Худоба – здесь: имущество.

⁶ Чепан – крестьянский верхний кафтан.

⁷ Зачичкавшийся – захиревший.

ему, что он мог бы со своим дядьком справиться, только не так просто, через прямоту, а через «попытку». И именно через такую политику, тонкую, чтобы шапку купить, а расход на нее не показывать, а так «расписать» те деньги где-нибудь понемножечку, по другим статьям. А ко всему этому на всякий случай, идучи к дяде, взять самое длинное полотенце да в несколько раз обмотать им себе шею, чтобы если Дукач станет драться, то не было бы очень больно. Агап взял себе на ум эту науку, и вот через год, когда дядя погнал его опять в Нежин, он ушел без шапки, а вернулся и с отчетом и с шапкою, которой ни в каких расходах не значилось. Дукач спервоначала этого и не заметил и даже было похвалил племянника, сказав ему: «Треба б тебе побиты, да ни за що». Но тут бес и дернул Агапа показать дядьку, как несправедлива на свете человеческая правда! Он попробовал, хорошо ли у него намотано на шее длинное полотенце, которое должно было служить для его политических соображений, и, найдя его в добром порядке, молвил дяде:

– Эге, дядьку, добре! ни за що биты! Ось така-то правда на свити?

– А яка ж правда?

– А ось яка правда: вибачайте, дядьку. – И Агап, щелкнув по бумажке, сказал: – Нема тут шапки?

– Ну, нема, – отвечал Дукач.

– А от же и есть шапка, – похвалился Агап и насадил набекрень свою новую франтовскую шапку из решетиловских

смушек⁸.

Дукач посмотрел и говорит:

– Добра шапка. А ну, дай и мени помирять.

Надел на себя шапку, подошел к осколку зеркала, вправленному в досточку, оклеенную яркою пестрою бумажною, тряхнул седою головою и опять говорит:

– А до лиха, бачь и справи така добрая шапка, що хоть бы и мени, то было б добре в ни ходыти.

– А ничего соби, добре б було.

– И де ты ии, вражий сын, украв?

– Що вы, дядьку, на що я буду красты! – отвечал Агап. – Нехай от сего Бог боронить, я зроду не крав.

– А де ж ты ии ухопыв?

Но Агап ответил, что он совсем шапки не хапал, а так себе, просто ее достал через полытыку.

Дукачу это показалось так смешно и невероятно, что он рассмеялся и сказал:

– Да ну, годи вже тебе дурню: де таки тобі робыть полытыку?

– А от же и сробыв.

– Ну, мовчи.

– Ей-богу, уделал.

Дукач только молча погрозил ему пальцем: но тот стоит на своем, что он «полытыку уделал».

⁸ Решетилковские смушки – шкурки молодых барашков, преимущественно серого цвета, выделявавшиеся в селе Решетилковка Полтавской губернии.

– И де в черта, та пыха⁹ у тебя взялась в голове, – заговорил Дукач, – да же сему дилу быть, щобы ты, такой сельский квак¹⁰, да в Нежине мог попытку делать.

Но Агап стоял на своем, что он действительно «уделал попытку».

Дукач велел Агапу сесть и все как есть про сделанную им политику рассказывать, а сам налил себе в плошку сливяной наливки, запалил люльку и приготовился долго слушать. Но долго слушать было нечего. Агап повторил дяде весь свой отчет и говорит:

– Нема тут шапки?

– Ну, нема, – отвечал Дукач.

– А вот же тут и есть шапка!

И он открыл, что именно, сколько копеек и в какой расходной статье им присчитано, и говорил он все это весело, с открытою душою и с полною надеждою на туго намотанное на шее полотенце; но тут-то и случилась самая непредвиденная неожиданность: Дукач, вместо того чтобы побить племянника по шее, сказал:

– Ишь ты, и справди який попыток: украв да и шию закрутив, щоб не больно було. Ну так я же тоби дам другую попытку. – И с этим он дернул клоч волос, замерший у него в руке.

Так кончилась эта политическая игра дяди с племянни-

⁹ Пыха – гордость, надменность, заносчивость.

¹⁰ Квак – болтун.

ком и, сделавшись известной на селе, укрепила за Дукачом еще более твердую репутацию, что этот человек «як каминь» — ничем его не возьмешь: ни прямою, ни политикою.

IV

Дукач всегда жил одиноко: он ни к кому не ходил, да и с ним никто не хотел близко знаться. Но Дукач об этом, по видимому, нимало и не скорбел. Может быть, ему это даже нравилось. По крайней мере он не без удовольствия говорил, что в жизнь свою никому не кланялся и не поклонится — и случая такого не чаял, который мог бы заставить его поклониться. Да и в самом деле и из-за чего он стал бы кого-нибудь заискивать? Волы и всякой худобы много; а если этим Бог накажет, — волы попадают или что пожаром сгорит, так у него вволю и земли и лугов — все в порядке, все опять снова уродится, и он снова разбогатеет. А хоть бы и не так, то он хорошо знал в дальнем лесу один приметный дуб, под которым закопан добрый казанок со старыми рублевыми. Стоит его достать оттуда, так и без всяких хлопот можно целый век жить, и то не прожить. Что же значили ему люди? Детей, что ли, ему с ними крестить, — но у него детей не было. Или для того чтобы утешить свою Дукачиху, которая по бабьей прихоти приставала:

— Что, мол, нас все боятся да нам завидуют — лучше бы

сделать, чтобы нас кто-нибудь любить стал.

Но стоило ли это бабье нытье казачьего внимания.

И вот шли годы за годами, пронося над головою Дукача безвредно всякие житейские случайности и невзгоды, а случай, который мог заставить его поклониться людям, все-таки его не облетел мимо: теперь люди ему понадобились, чтобы дитя крестить.

Всякому иному, не такому гордому человеку, как Дукач, это, разумеется, ничего бы не составляло, но Дукачу ходить, звать, да еще упрашивать, было не под стать. Да еще кого звать и кого упрашивать? – Уж, разумеется, не кого-нибудь, а самых первых людей: молодую поповну-щеголиху, которая ходила в деревне в полтавских шляпках, да судового паныча, что гостил об эту пору у отца диакона. Положим, это компания хорошая, но что-то страшно: ну как они откажут? Дукач помнил, что ведь не обращал внимания он не только на простых людей, но не уважал и отца Якову, а с диаконом прямо один раз на гребле¹¹ «бился» за то, что тот, едуци ему навстречу, не хотел с дороги в грязь своротить. Чего доброго, и они этого не позабыли и теперь, – когда гордому казаку пришла в них нужда, – они ему это, пожалуй, и вспомнят. Делать, однако, было нечего. Дукач поднялся на хитрость: избегая самолично встретить отказ, он послал звать кумовьев Агапа. А чтобы и тому было поваднее, снабдил его зваными дарами деревенского припасения, которые вынул из завет-

¹¹ Гребля – вал.

ной скрини: панночке высокий черепаховый гребень «с огородом», а панычу золоченую склянку петухом с немецкою подписью. Но все это вышло напрасно: кумовья отказались и даров не приняли; да еще, по словам Агапа, и в глаза ему насмеялись: что, дескать, чего Дукач и заботится: разве детей таких злодеев, как он, можно крестить? А когда Агап заметил, что неужто дитя целую неделю останется не крещено, то будто сам поп – отец Яков прямо пророковал, что не неделю, а целый век ему оставаться некрещеным.

Услыхав это, Дукач сложил правою рукою дулю, сунул ее племяннику в нос и велел поднести это за пророчество отцу Якову. А чтобы Агапу веселее было идти, – повернул его другою рукою и выпроводил по потылице.

V

Агап, разумеется, не считал этого за самый худший исход, какого он мог ожидать за свое неудачное посольство, и, закатясь с дядиных глаз в корчму, успел рассказать бывшее так хорошо, что через полчаса об этом знало все селение, и все, от мала до велика, радовались тому, что отец Яков «в книгах вычитал, як Дукачонку на роду писано остаться некрещеным». И если бы теперь старый Дукач забыл всю свою важность и стал звать последнего из последних на селе, то он наверно бы никого не дозволялся, но Дукач это знал: он знал, что находится в положении того волка, который всем чем-

нибудь нагадил, и что ему потому некуда деться и не от кого искать защиты. Он пошел напролом: сунув к носу Агапа дулю, адресованную отцу Якову, он решил обойтись не только без содействия всех своих односельчан, но и без услуг самого отца Якова.

Назло всем, но, может быть, особенно отцу Якову, Дукач решил окрестить сына в чужом приходе, в селе Перегудах¹², которое отстояло от Парипс не более как на семь или на восемь верст. А чтобы не откладывать спешного дела в долгий ящик, – окрестить сына немедленно, именно нынче же, – чтобы завтра об этом и разговоров не было; а напротив, чтобы завтра же все знали, что Дукач настоящий казак, который никому в насмешку не дается и может без всех обойтись. Кум у него уже был избран – самый неожиданный, – это Агап. Правда, что такой выбор многих мог удивить, но на то у Дукача был отвод: он брал простых кумовьев – «встречных», как на то есть поверье, что таких Бог посылает. Агап и взаправду был первый «встречник», на которого богатый казак на первого взглянул при известии о новорожденном; а первая «встречница» была бабка Керасивна. Ее взять в кумы было немножко неловко, потому что Керасивна имела не совсем стройную репутацию: она была самая несомненная ведьма; столь несомненная, что этого не отрицал даже сам ее муж, очень ревнивый казак Керасенко, из которого эта хит-

¹² Село Перегуды – вымышленное украинское село, которое также является местом действия в повести Н. Лескова «Заячий ремиз».

рая жинка весь дух и всю его нестерпимую ревность выбила. Обратя его в самого битого дурня, жила она на всей своей вольной воле – немножко шинкуя, немножко промышляя то повитушеством, то продажею паляниц¹³, то, наконец, просто «срывая цветы удовольствий».

VI

Ведьмовство ее знали и стар и мал, – потому что случай, обнаруживший это, был самый гласный и скандальный. Керасивна еще в дивчинах была бесстрашная самовольница – жила в городах и имела какую-то мудреного вида скляницу с рогатым чертом, которую ей подарил рогачевский дворянин с Покоти, отливавший такие чертовщины в соседней гуте¹⁴. И Керасивна пила себе на здоровье из этой скляницы и была здорова. И, наконец, мало всего этого – она показала самую невозможную отвагу, добровольно согласясь выйти замуж за Керасенку. Этого никто не мог сделать, кроме женщины, которая ничего не боится, потому что Керасенко заведомо уже уморил своею ревностью двух жен, и когда нигде в окрестности не мог найти себе третьей, то тогда эта окаянная Христя сама ему набилась и вышла за него, только такое условие сделала, что он ей всегда будет верить. Керасенко на это согласился, а сам думал:

¹³ Паляница (укр.) – род пшеничной булки.

¹⁴ Гута – стеклянный завод.

«Дура баба: так я тебе и стану верить! – дай женюсь, – я тебя и на шаг от себя не отпущу».

Всякая бы на месте Христи это предвидела, но эта шустрая дивчина словно оглупела: и не только ничего не побоялась и вышла за ревнивого вдовца, да еще взяла и совсем его переделала, так что он вовсе перестал ее ревновать и дал ей жить на всей ее вольной воле. Вот это-то и было устроено самым коварным ведьмовством и при несомненном участии черта, которого соседка Керасивны, Пиднебесная, сама видела в образе человеческого.

Это было вскоре же после того, как Керасенко женился на бойкой Христе, и хоть тому теперь прошел уже добрый десяток лет, однако бедный казак, конечно, и о сию пору хорошо помнил этот чертовский случай. Было это зимою, под вечер, на праздниках, когда никакому казаку, хоть бы и самому ревнивому, невмочь усидеть дома. А Керасенко и сам «нудил свитом», и жену никуда не пускал, и произошла у них из-за этого баталия, при которой Керасивна сказала мужу:

– Ну, як ты вийшов на своем слове невірний, то я же тебе зроблю лихо.

– Як лихо! як ты мени лихо зробиш? – заговорил Керасенко.

– А зроблю, да и усе тут буде.

– А як я тебе з очей не випущу?

– А я на тебе мару¹⁵ напущу.

¹⁵ Мара – наваждение.

– Як мару? – хіба ты видьма?

– А от побачишь, чи я видьма, чи я ни видьма.

– Добре.

– От побачишь: дивись на мене, держись за мене, а я свое зроблю.

И еще срок назначила.

– Три дня, – говорит, – не пройдет, как сделаю.

Казак сидит день, сидит два, просидел и третий до самого до вечера и думает: «Срок кончился, а щоб мене сто чорти-ев сразу взяли, як дома скучно... а Пиднебеснихин шинок як раз против моей хаты, из окон в окна: мини звидтиль все видно будет, як кто-нибудь пойдет ко мне в хату. А я тем часом там выпью две-три або четыре четвертки... послухаю, що люди гомонят, що в городе чуть... и потанцюю – позабавлюся».

И он пошел – пошел и сел, как думал, у окна, так что ему видно всю свою хату, видно, как огонь горит; видно, как жинка там и сям мотается. Чудесно? И Керасенко сел себе да попивает, а сам все на свою хату посматривает; но откуда ни возьмись сама вдова Пиднебесная заметила эту его проделку, да и ну над ним подтрунивать: эх, мол, такой-сякой ты глупый казак, – чего ты смотришь, – в жизнь того не усмотришь.

– Ну, добре – ще побачим!

– Ничого и бачить, – де за нами, жинками, больше смотрят, там нам, жинкам, сам бис помогае.

– Говори-ка, говори себе, – отвечал казак, – а як я сам на жинку дивитимусь¹⁶, то коло ии и черт ничего не зробить.

Тут все и закивали головами.

– Ах, нехорошо так, Керасенко, ах, нехорошо! – или ты некрещеный человек, или ты до того осатанел, что и в самого беса не веруешь.

И все этим так возмутились, что даже кто-то из толпы крикнул:

– Да що еще на него смотреть: дать ему такого прочухана¹⁷, щоб вин тричи перевернувся и на добру виру став.

И его действительно чуть не побили, к чему, как он заметил, особенное стремление имел какой-то чужой человек, о котором Керасенку вдруг ни с того ни с сего вздумалось, что это не кто иной, как тот самый рогачевский дворянин, который подарил его жене склянку с чертом и из-за которого у них с женою перед самою свадьбою было объяснение, окончившееся условием, чтобы об этом человеке больше уже не разговаривать.

Условие было заключено страшной клятвой, что если Керасенко хоть раз вспомнит про дворянина, то будет он тогда за это у черта в зубах. И Керасенко это условие помнил. Но только теперь он был пьян и не мог снести своего замешательства: зачем тут явился рогачевский дворянин? И он поспешил домой, но дома не застал жены, и это ему показалось

¹⁶ Дивитимусь (укр.) – посмотрю.

¹⁷ Прочухан – удар.

еще несообразнее.

«Не вспоминать-то, — думал он, — это точно мы условились о нем не вспоминать, а на что же он тут вертится, — и зачем моей жены дома нет?»

И когда Керасенко находился в таких размышлениях, ему вдруг показалось, что у него в сенях за дверью кто-то поцеловался. Он встрепнулся и стал прислушиваться... слышит еще поцелуй и еще, и шепот, и опять поцелуй. И все как раз у самой у двери...

— Э, до ста чертей, — сказал себе Керасенко, — или это я с отвычки горилки так славно наугощался у Пиднебеснихи, что мне черт знает что показывается; или это моя жинка пронохала, что я про рогачевского шляхтича с нею хочу спорить, и вже успела на меня мару напустить? Люди мне уже не раз прежде говорили, что она у меня ведьма, да только я этого доглядеться не успел, а теперь... ишь, опять целуются, о... о... о... вот опять и опять... А, стой же, я тебя подкараулю!

Казак спустился с лавки, подполз тихо к двери и, припав ухом к пазу, стал слушать: целуются, несомненно целуются — так губами и чмокают... А вот и разговор, и это живой голос его жены; он слышит, как она говорит:

— Що тобі мой муж, такий-сякий поганец: я его прожену, а тебе в хату пушу.

«Ого! — подумал Керасенко. — Это она еще меня хвалится выгнать, а в мою хату кого-то впустить хочет... Ну уж этого

не будет».

И он поднялся, чтобы сильным толчком распахнуть дверь, но дверь сама растворилась, и на пороге предстала Керасивна – такая хорошая, спокойная, только немножко будто красная, и сразу же принялась ссориться, как пристойно настоящей малороссийской жинке. Назвала она его чертовым сыном, и пьяницей, и собакой, и многими другими именами, а в заключение напредила ему об их услови, чтобы Керасенко и думать не смел ее ревновать. А в доказательство своего к ней доверия сейчас же пустил бы ее на вечерницы. Иначе она ему такую штуку устроит, что он будет век помнить. Но Керасенко был малый не промах, пустить на вечерницы сейчас, после того, как он своими глазами видел у Пиднебеснихи рогачевского дворянина и сейчас слышал, как его жена с кем-то целовалась и сговаривалась кого-то пустить в хату... это ему, разумеется, представилось уже слишком очевидною глупостью.

– Нет, – сказал он, – ты поищи такого дурня в другом месте, а я хочу лучше тебя дома припереть да спать лечь. Так оно надежнее будет: тогда я и твоей мары не испугаюсь.

Керасивна, услышав эти слова, даже побледнела; муж с нею первый раз заговорил в таком тоне, и она понимала, что это настал в ее супружеской политике самый решительный момент, который во что бы то ни стало надо выиграть: или – все, что она вела до сих пор с такою ловкостью и настойчивостью, пропало бесследно и, пожалуй, еще обратится на

ее же голову.

И она вспрянула – вспрянула во весь свой рост, ткнула казаку в нос самую оскорбительную дулю и хотела, недолго думая, махнуть за дверь, но тот отгадал ее намерение и предупредил его, замкнув дверь на цепочку, и, опустив ключ в бесконечный карман своих широчайших шаровар, с возмущительным спокойствием сказал:

– Вот тебе и вся твоя дорога, от печи да до порога.

Положение Керасивны обозначилось еще решительнее: она приняла вызов мужа и впала в такое неописанное и страшное экстатическое состояние, что Керасенко даже испугался. Христя долго стояла на одном месте, вся вздрагивая и вытягиваясь как змея, причем руки ее корчились, кулаки были крепко сжаты, а в горле что-то щелкало, и по лицу ходили то белые, то багровые пятна, меж тем как устремленные в упор на мужа глаза становились острее ножей и вдруг заиграли совсем красным пламенем.

Это показалось казаку так страшно, что он, не желая видеть жены в этом бешенстве, крикнул:

– Цур тобі, проклятая видьма! – и, дунув на огонь, сразу погасил светло.

Керасивна только топнула впотьмах и прошипела:

– Так будешь же ты знать мене, видьму! – И потом вдруг, как кошка, прыгнула к печке и звонко-презвонко крикнула в трубу: – У-г-у-у! Души его, свинью!

VII

Казак, правда, еще больше струсил от этого нового неистовства, но чтобы не упустить жену, которая, очевидно, была ведьма и имела прямое намерение лететь в трубу, он изловил ее и, сильно обхватив ее руками, бросил на кровать к стенке и тотчас же сам прилег с краю.

Керасивна, к удивлению мужа, нимало не сопротивлялась – напротив, она была тиха, как смирный ребенок, и даже не бранилась. Керасенко был этому очень рад и, зажав одною рукою спрятанный в карман ключ, а другою взяв жену за рукав рубахи, заснул глубоким сном.

Но недолго длилось это его блаженное состояние: только что он отхватал половину первого сна, в котором переполненный винных паров мозг его размяк и утратил ясность представлений, как вдруг он получил толчок в ребра.

«Что такое?» – подумал казак и, почувствовав еще новые толчки, пробормотал:

– Чего ты, жинка, толкаешься?

– А то як же не толкаться: слухай-ко, что на дворе робится?

– Что там робится?

– А вот ты слухай!

Керасенко поднял голову и слышит, что у него на дворе что-то страшно визгнуло.

— Эге, — сказал он, — а ведь это, пожалуй, кто-то нашу свинью волокет.

— А разумеется, так. Пусти меня скорее, я пойду посмотрю: хорошо ли она заперта?

— Тебя пустить?.. Гм... гм...

— Ну дай же ключ, а то украдут свинью, и будем мы сидеть все Святки и без ковбас, и без сала. Все добрые люди будут ковбасы есть, а мы будем только посматривать... Ого-го-го... слушай, слушай: чуешь, як ее волокут... Аж мне его жаль, как оно, бедное порося, завизжало!.. Ну, пусти меня скорее: я пойду ее отниму.

— Ну да: так я тебя и пущу! Где это видано, чтобы баба на такое дело ходила — свинью отнимать! — отвечал казак. — Лучше я встану и сам пойду отниму.

А на самом деле ему лень было вставать и страх не хотелось идти на мороз из теплой хаты; но только и свинью ему было жалко, и он встал, накинул свитку и вышел за двери. Но тут и произошло то неразгаданное событие, которое несомненнейшими доказательствами укрепило за Керасивною такую ведьмовскую славу, что с сей поры всяк боялся Керасивну у себя в доме видеть, а не только в кумы ее звать, как это сделал надменный Дукач.

VIII

Не успел осторожно шагавший казак Керасенко отворить

хлев, где горестно завывала недовольная причиняемым ей беспокойством свинья, как на него из непроглядной темноты упало что-то широкое да мягкое, точно возовая дерюга, и в ту же минуту казака что-то стукнуло в загорбок, так что он упал на землю и насилу выпростался. Удостоверившись, что свинья цела и лежит на своем месте, Керасенко припер ее покрепче и пошел к хате досыпать ночь.

Но не тут-то было: не только самая хата, но и сени его оказались заперты. Он туда, он сюда – все заперто. Что за лихо? Стучал он, стучал; звал, звал жинку:

– Жинка? Христя! Отопри скорее.

Керасивна не откликалась.

– Тьфу ты, лихая баба: чего это она вздумала запереться и так скоро заснула! Христя! Ей! Жинка! Отчини!

Ничего не было: словно все замерло; даже и свинья спит, и та не хрюкает.

«Вот так штука! – подумал Керасенко. – Ишь как заснула! Ну да я вылезу через тын на улицу да подойду к окну; она близко у окна спит и сейчас меня услышит».

Он так и сделал: подошел к окну и ну стучать, но только что же он слышит? – жена его говорит:

– Спи, человиче, спи, не зважай на то, що стучит: се чертяка у нас ходыт!

Казак стал сильнее стучать и покрикивать:

– Сейчас отчини, или я окно разобью.

Но тут Христя рассердилась и отозвалась:

– Кто это смеет в такую пору к честным людям стучаться?

– Да это я, твой муж.

– Какой мой муж?

– Известно какой твой муж – Керасенко.

– Мой муж дома, – иди себе, иди, кто ты там есть, не буди нас: мы с мужем вместе обнявшись спим.

«Что это такое? – подумал Керасенко. – Неужели я все сплю и во сне вижу, или это взаправду делается?»

И он опять застучал и начал звать:

– Христя, а Христя! да отопри на Божию милость.

И все пристаёт, все пристаёт с этим; а та долго молчит – ничего не отвечает и потом опять отзовется:

– Да провались ты совсем, – кто такой привязался; говорю тебе, мой муж дома, со мною рядом обнявшись лежит, – вот он.

– Это тебе, Христя, може, показывается?

– Эге! спасиби тебе на том! Що же, хибя я така дурна чи совсем нечувствительна, що ни в чем толку не знаю? Нет, мне это лучше знать, що показывается, а що не показывается. Вот он, вот мой чоловік, у меня совсем близенько... вот я его и перекрещу: Господи Иисусе, а вот и поцелую: и обниму и опять поцелую... Так добре нам вместе, а ты, недобрый потаскун, иди себе сам до своей жинки – не мешай нам спать и целоваться. Добра ничь – иди с Богом.

«Фу ты, сто чертов твоему батькови: что эта за притча! – пожимая плечами, рассуждал Керасенко. – Чего доброго, я,

перелезши через тын, не обознался ли хатою. Только нет: это моя хата».

Он отошел на другую сторону широкой деревенской улицы и стал считать от колодца с высоким журавлем.

– Первая, вторая, третья, пятая, седьмая, девятая... Вот это и есть моя девятая.

Пришел; опять стучит, опять зовет, и опять та же история: нет-нет отзовется женский голос, и все раз от раза с бóльшим неудовольствием и все в одном и том же смысле:

– Иди прочь: мой муж со мною.

А голос Христи – несомненно ее голос.

– А ну, если твой чоловік с тобою, – пусть он заговорит.

– Чего ему со мною говорить, як мы уже все обговорили.

– Да я хочу послушать: есть ли там у тебя чоловік?

– А вже же есть: вот ты слухай, як мы станем целоваться.

– Тьфу, пропасти на них нет; в самом деле целуются, а меня уверяют, что я – не я, и куда-то совсем прочь домой посылают. Но погоди же: я не совсем глупый – я пойду соберу людей, и пусть люди скажут: мой это дом или нет, и я или кто другой муж моей жинки. – Слушай, Христия: я пойду людей будить.

– Да иди, иди, – отвечает голос, – только от нас отчепысь: мы вот двоечко нацеловались и смирененько обнявшись лежим, и хорошо нам. А до других ни до кого и дела нет.

Вдруг и другой, несомненно мужской голос то же самое утверждает:

– Мы двоечко нацеловались и теперь смиреннько обнявшись лежим, а ты ступай к черту!

Ничего больше не оставалось делать: Керасенко убедился, что в его звании под бок к Христе подкатился кто-то другой, и он пошел будить соседей.

IX

Долго или коротко это шло, пока очумевший Керасенко успел добудиться и собрать к своему дому десятка два казаков и добровольно последовавших за мужьями любопытных казачек, – а Керасивна оставалась в своем положении и все уверяла всех, что со всеми с ними мара, а что ее муж с нею дома, лежит у нее на руке, и в доказательство не раз заставляла всех слушать, как она его целует. И все казаки и казачки это внимали и находили, что это никак не может быть фальшь, потому что поцелуи были настоящие, и притом из-за окна, хотя не особенно внятно, а все-таки хорошо слышался мужской голос, который, по уверению Керасивны, принадлежал ее мужу. И все слышали, как этот голос один раз приблизился к самому окну и оттуда, всех ужасая, сказал:

– Що вы, дурни, за марою ходите? – я дома лежу со своею жинкою; а это вас мара водит. Дайте ей всякий по одному доброму прочухану наотмашь, – она враз и рассыпется.

Казаки перекрестились, и кто из них ближе стоял к Кера-

сенке, тот первый и съездил его изо всей силы по потылице, — но сам тотчас же дал тягу, а его примеру последовали другие. И Керасенко, получив от каждого по тумaku наотмашь, в одну минуту был жестоко исколочен и безжалостно брошен у порога своей заколдованной хаты, где какой-то коварный демон так усердно замещал его на супружеском ложе. Он более уже не пытался облегчить своего горя, а только, сидя на снежку, горько плакал, как совсем бы казаку и не пристало, и все как будто слышал, что его Керасивна целуется. Но, к счастью, все мучения человеческие имеют конец, — и это терзание Керасенки кончилось, — он заснул, и ему снилось, будто его жена взяла его за шиворот и перенесла на хорошо ему знакомую теплую постель, а когда он проснулся, в самом деле увидел себя на своей постели, в своей хате, а перед ним у припечки хлопотала, стряпая клепки с сыром, его молодцеватая Керасивна. Словом, все как следует — точно ничего необыкновенного и не случилось: ни про поросенка, ни про мару и помина не было. Керасенко же хотя и очень желал об этом заговорить, но не знал: как за это взяться?

Казак на все только рукою махнул и с тех пор жил со своею Керасивною в мире и согласии, оставляя ее на всей ее воле и просторе, которыми она и пользовалась как знала. Она и торговала, и ездила, куда хотела, и домашнее счастье ее от этого не страдало, благосостояние и опытность увеличивались. Но зато в общественном мнении Керасивна была потеряна: все знали, что она ведьма. Хитрая казачка против

этого никогда не спорила, так как это давало ей своего рода апломб: ее боялись, чествовали и, приходя к ней за советами, приносили ей либо копу¹⁸ яиц, либо какой другой пригодный в хозяйстве подарок.

Х

Знал Керасивну и Дукач, и знал ее, разумеется, за женщину умную, с которою, окромя ее вдовства, во всяком причинном случае посоветоваться не лишнее. И как Дукач сам был человек нелюбимый, то он Керасивною не очень-то и брезговал. Люди говорили, будто не раз видали их стоявшими вдвоем под густою вербою, которая росла заплетенная в плетень, разделявший их огороды. Иные даже думали, что тут было немножко и какого-то греха, но это, разумеется, были сплетни. Просто Дукач и Керасивна, имевшие в своей репутации нечто общее, были знакомы и находили о чем поговорить друг с другом.

Так и теперь, в том досадительном случае, который последовал по поводу неудачного позыва кумовьев, Дукач вспомнил о Керасивне и, призвав ее на совет, рассказал ей причиненную ему всеми людьми досаду.

Выслушав это, Керасивна мало подумала и, потрянув головою, прямо отрезала:

¹⁸ Копы – горка, кучка.

– А що же, пане Дукач: зовить меня кумою!

– Тебя кумою звать, – повторил в раздумье Дукач.

– Да, или вы верите, що я видьма?

– Гм!.. Говорят, будто ты видьма, а я у тебя хвоста не бачив.

– Да и не побачите.

– Гм! Тебя кумою... а що на то все люди скажут?

– Се якие люди?.. Те, що вам в хату и плюнуть не хотят идти?

– Правда, а що моя Дукачиха заговорит? Ведь она верит, що ты видьма.

– А вы ее боитесь?

– Боюсь... Я не такой дурень, як твой муж: я баб не боюсь и никого не боюсь: а тилько... ты вправду не видьма?

– Э, да, я бачу, вы, пане Дукач, такой же дурень! Ну так зовите же кого хотите.

– Гм! ну стой, стой, не сердись: будь ты взаправду кумою. Только смотри, станет ли с тобою перегудинский поп крестить?

– А отчего не станет!

– Да бог его знает: он який-с такой ученый – все от Писания начинается, – скажет: не моего прихода.

– Не бойтесь – не скажет; он хоть ученый, а жинок добре слушае... Начнет от Писания, а кончит, як все люди, – на том, що жинка укажет. Добре его знаю и была с ним в компании, где он ничего пить не хотел. Говорит: «В Писании сказано: не

упивайтесь вином, – в нем бо есть блуд». А я говорю: «Блуд так блудом, а вы чарочку выпейте», – он и выпил.

– Выпил?

– Выпил.

– Ну так се добре: только смотри, щобы вин нам, выпивши, не испортил хлопца, – не назвал бы его Иваном або Николою.

– Ну вот! Так я ему и дам, щоб христианское дитя да Николой назвать. Хиба я не знаю, что это московское имя.

– То-то и есть: Никола самый москаль.

Дело стояло еще за тем, что у Керасивны не было такой теплой и просторной шубы, щобы везти дитя до Перегуд, а день был очень студеный – настоящее «варварское время»¹⁹, но зато у Дукачихи была чудная шуба, крытая синею нанкою. Дукач ее достал и отдал без спроса жены Керасивне.

– На, – говорит, – одень и совсем ее себе возьми, только долго не копайся, щобы люди не говорили, що у Дукача три дня было дитя не хрещено.

Керасивна насчет шубы немножко поломалась, но, однако, взяла ее. Она завернула далеко вверх подбитые заячьим мехом рукава, и все в хуторе видели, как ведьма, задорно заломив на затылок пестрый очипок²⁰, уселась рядом с Агапом в сани, запряженные парюю крепких Дукачевых коней, и отправилась до попа Еремы в село Перегуды, до которо-

¹⁹ «Варварское время» – морозы на св. Варвару (4 декабря ст. ст.).

²⁰ Очипок – платок, волосник, чепец.

го было с небольшим восемь верст. Когда Керасивна с Агапом отъезжали, любопытные люди видели, что и кум и кума были достаточно трезвы. Что хотя у Агапа, который правил лошадьми, была видна в коленях круглая барилочка²¹ с наливкою, но это, очевидно, назначалось для угощения причта. У Керасивны же за пазухою просторной синей заячьей шубы лежало дитя, с крещением которого должен был произойти самый странный случай, – что, впрочем, многие опытные люди живо предчувствовали. Они знали, что Бог не допустит, чтобы сын такого недоброго человека, как Дукач, был крещен, да еще через известную всем ведьму. Хороша бы после этого вышла и вся крещеная вера!

Нет, Бог справедлив: Он этого не может допустить и не допустит.

Того же самого мнения была и Дукачиха. Она горько оплакивала ужасное самочинство своего мужа, избравшего единственному, долгожданному дитяти восприемницею заведомую ведьму.

При таких обстоятельствах и предсказаниях произошел отъезд Агапа и Керасивны с Дукачевым ребенком из села Парипс в Перегуды, к попу Ереме.

Это происходило в декабре, за два дня до Николы, часа за два до обеда, при довольно свежей погоде с забористым «московским» ветром, который тотчас же после выез-

²¹ Барилочка, барило – деревянная посуда для спиртного, имеющая цилиндрическую или бочкообразную форму.

да Агапа с Керасивною из хутора начал разыгрываться и превратился в жестокую бурю. Небо сверху заволокло свинцом; понизу завеялась снежистая пыль, и пошла лютая метель.

Все люди, желавшие зла Дукачеву ребенку, видя это, набожно перекрестились и чувствовали себя удовлетворенными: теперь уже не было никакого сомнения, что Бог на их стороне.

XI

Предчувствия говорили недоброе и самому Дукачу; как он ни был крепок, а все-таки был доступен суеверному страху и – трусил. В самом деле, с того ли или не с того сталося, а буря, угрожавшая теперь кумовьям и ребенку, точно с цепи сорвалась как раз в то время, когда они выезжали за околицу. Но еще досаднее было, что Дукачиха, которая весь свой век провела в раболепном безмолвии пород мужем, вдруг разомкнула свои молчаливые уста и заговорила:

– На старость нам, в мое утешенье, Бог нам дытину дал, а ты его съел.

– Это еще що? – остановил Дукач. – Как я съел дитя?

– А так, що отдал его видьме. Где это по всему христианскому казачеству слыхано, чтобы видьми давали дитя крестить?

– А вот же она его и перекрестит.

– Никогда того не было, да и не будет, чтобы Господь при-

пустил до Своей христианской купели лиходейскую видьму.

– Да кто тебе сказал, що Керасивна ведьма?

– Все это знают.

– Мало чего все говорят, да никто у нее хвоста не видел.

– Хвоста не видели, а видели, как она мужа оборачивала.

– Отчего же такого дурня и не оборачивать?

– И от Пиднебеснихи всех отворотила, чтобы у нее паляниц не покупали.

– Оттого, что Пиднебесная спит мягко и ночью тесто не бьет, у нее паляницы хуже.

– Да ведь с вами не сговоришь, а вы кого хотите, всех добрых людей спросите, и все добрые люди вам одно скажут, что Керасиха ведьма.

– На что нам других добрых людей пытаться, когда я сам добрый человек.

Дукачиха вскинула на мужа глаза и говорит:

– Как это... Это вы-то добрый человек?

– Да; а что же, по-твоему, я разве не добрый человек?

– Разумеется, не добрый.

– Да кто тебе это сказал?

– А вам кто сказал, что вы добрый?

– А кто сказал, что я не добрый?

– А кому же вы какое-нибудь добро сделали?

– Какое я кому добро сделал?

– Да.

«А сто чертей... и правда, что же это я никак не могу

припомнить: кому я сделал какое-нибудь добро?» — подумал непривычный к возражениям Дукач и, чтобы не слышать продолжения этого неприятного для него разговора, сказал: — Вот того только и недоставало, чтобы я с тобою, с бабою, стал разговаривать.

И с этим, чтобы не быть более с женою с глаза на глаз в одной хате, он снял с полка отнятую некогда у Агапа смушковую шапку и пошел гулять по свету.

XII

Вероятно, на душе у Дукача было уже очень тяжело, когда он мог пробыть под открытым небом более двух часов, потому что на дворе стоял настоящий ад: буря сильно бушевала, и в сплошной снежной массе, которая тряслась и веялась, невозможно было перевести дыхание.

Если таково было близ жилья, в затишье, то что должно было происходить в открытой степи, в которой весь этот ужас должен был застать кумовьев и ребенка? Если это так невыносимо взрослому человеку, то много ли надо было, чтобы задушить этим дитя?

Дукач все это понимал и, вероятно, немало об этом думал, потому что он не для удовольствия же пролез через страшные сугробы к тянувшейся за селом гребле и сидел там в сумраке метели долго, долго — очевидно, с большим нетерпением поджидая чего-то там, где ничего нельзя было рассмот-

реть. Сколько Дукач ни стоял до самой темноты посредине гребли, – его никто не толкнул ни спереди, ни сбоку, и он никого не видал, кроме каких-то длинных-предлинных привидений, которые точно хоровод водили вверху над его головою и сыпали на него снегом. Наконец это ему надоело, и, когда быстро наступившие сумерки увеличили темноту, он крикнул, выпутал ноги из засыпавшего их сугроба и побрел домой.

Тяжело и долго путаясь по снегу, он не раз останавливался, терял дорогу и снова ее находил. Опять шел, шел и на что-то наткнулся, ощупал руками и убедился, что то был деревянный крест – высокий, высокий деревянный крест, какие в Малороссии ставят при дорогах.

«Эге, – это я, значит, вышел из села! Надо же мне взять назад», – подумал Дукач и повернул в другую сторону, но не сделал он и трех шагов, как крест был опять перед ним.

Казак постоял, перевел дух и, оправясь, пошел на другую руку, но и здесь крест опять загородил ему дорогу.

«Что он, движется, что ли, передо мною, или еще что творится», – и он начал разводить руками и опять нащупал крест, и еще один, и другой возле.

– Ага; вот теперь понимаю, где я: это я попал на кладбище. Вон и огонек у нашего попа. Не хотел ледачий пустить ко мне свою поповпу окрестить детину. Да и не надо; только где же тут, у черта, должен быть сторож Матвейко?

И Дукач было пошел отыскивать сторожку, но вдруг ска-

тился в какую-то яму и так треснулся обо что-то твердое, что долго оставался без чувств. Когда же он пришел в себя, то увидал, что вокруг него совершенно тихо, а над ним синее небо и стоит звезда.

Дукач понял, что он в могиле, и заработал руками и ногами, но выбраться было трудно, и он добрый час провозился, прежде чем выкарабкался наружу, и с ожесточением плюнул.

Времени, должно быть, прошло добрая часина – буря заметно утихла, и на небе вызвездило.

ХІІІ

Дукач пошел домой и очень удивился, что ни у него, ни у кого из соседей, ни в одной хате уже не было огня. Очевидно, что ночи уже ушло много. Неужели же и о сю пору Агап и Красивна с ребенком еще не вернулись?

Дукач почувствовал в сердце давно ему незнакомое сжатие и отворил дверь нетвердою рукою.

В избе было темно, но в глухом угле за печкою слышалось жалобное всхлипывание.

Это плакала Дукачиха. Казак понял, в чем дело, но не выдержал и таки спросил:

– А неужели же до сих пор...

– Да, до сих пор видьма еще ест мою дытыну, – перебила Дукачиха.

– Ты глупая баба, – отрезал Дукач.

– Да, это вы меня такую глупую сделали; а я хоть и глупая, а все-таки не отдавала видьми свою дытину.

– Да провались ты со своею ведьмою: я чуть шею не сломал, попал в могилу.

– Ага, в могилу... ну то она же и вас навела в могилу. Идите лучше теперь кого-нибудь убейте.

– Кого убить? Что ты мелешь?

– Подите хоть овцу убейте, – а то недаром на вас могила зинула – умрете скоро. Да и дай Бог: что уже нам таким, про которых все люди будут говорить, что мы свое дитя видьми отдали.

И она пошла опять вслух мечтать на эту тему, меж тем как Дукач все думал: где же в самом деле Агап? Куда он делся? Если они успели доехать до Перегуд прежде, чем разыгралась метель, то, конечно, они там переждали, пока метель улеглась, но в таком случае они должны были выехать, как только разъяснило, и до сих пор могли быть дома.

– Разве не хлебнул ли Агап лишнего из барилочки?

Эта мысль показалась Дукачу статочною, и он поспешил сообщить ее Дукачихе, но та еще лишь застонала:

– Что тут угадывать, не видать нам свое дитя: заела его видьма Керасивна, и она напустила на свет эту погоду, а сама теперь летает с ним по горам и пьет его алую кровку.

И досадила этим Дукачиха мужу до того, что он, обругав ее, взял опять с одного полка свою шапку, а с другого ружье и вышел, чтобы убить зайца и бросить его в ту могилу, в ко-

торуую незадолго перед этим свалился, а жена его осталась выплакивать свое горе за припечком.

XIV

Огорченный и непривычным образом взволнованный казак в самом деле не знал, куда ему деться, но как у него уже сорвалось с языка про зайца, то он более машинально, чем сознательно, очутился на гумне, куда бегали вредливые зайцы; сел под овсяным скирдом и задумался.

Предчувствия томили его, и горе кралось в его душу, и шевелили в ней терзающие воспоминания. Как ни неприятны были ему женины слова, но он сознавал, что она права. Действительно, он во всю свою жизнь не сделал никому никакого добра, а между тем многим причинил много горя. И вот у него, из-за его же упрямства, гибнет единственное, долгожданное дитя, и сам он падает в могилу, что, по общему поверью, неминуемый злой знак. Завтра будут обо всем этом знать все люди, а все люди – это его враги... Но... может быть, дитя еще найдется, а он, чтобы не скучать, ночью подсидит и убьет зайца и тем отведет от своей головы угрожающую ему могилу.

И Дукач вздохнул и стал всматриваться: не прыгает ли где-нибудь по полю или не теребит ли под скирдами заяц.

Оно так и было: заяц ждал его, как баран ждал Авраама²²: у крайнего скирда на занесенном снегом вровень с вершиною плетне сидел матерый русак. Он, очевидно, высматривал местность и занимал самую бесподобную позицию для прицела.

Дукач был старый и опытный охотник, он видал много всяких охотничьих видов, но такой ловкой подставки под выстрел не видывал, и, чтобы не упустить ее, он недолго же думая приложился и выпалил.

Выстрел покатился, и одновременно с ним в воздухе пронесся какой-то слабый стон, но Дукачу некогда было раздумывать – он побежал, чтобы поскорей затоптать дымящийся пыж, и, наступив на него, остановился в самом беспокойном изумлении: заяц, до которого Дукач не добежал несколько шагов, продолжал сидеть на своем месте и не трогался.

Дукач опять струхнул: вправду, не шутит ли над ним дьявол, не оборотень ли это пред ним? И Дукач свалил ком снега и бросил им в зайца. Ком попал по назначению и рассыпался, но заяц не трогался – только в воздухе опять что-то просто-нало. «Что за лихо такое», – подумал Дукач и, перекрестясь, осторожно подошел к тому, что он принимал за зайца, но что никогда зайцем не было, а было просто-напросто смушковая

²² ...как баран ждал Авраама – отсылка к библейской истории о том, как Авраам, прародитель еврейского народа, получил от Бога указание заколоть своего единственного сына Исаака в качестве жертвы. Видя, что Авраам готов исполнить даже это, Бог в последний момент повелел, чтобы вместо сына был заколот баран, по Божьей воле как раз оказавшийся поблизости.

шапка, которая торчала из снега. Дукач схватил эту шапку и при свете звезд увидел мертвенное лицо племянника, облитое чем-то темным, липким, с сырым запахом. Это была кровь.

Дукач задрожал, бросил свою рушницу и пошел на село, где разбудил всех – всем рассказал свое злочинство; перед всеми каялся, говоря: «Прав Господь, меня наказуя, – идите откопайте их всех из-под снега, а меня свяжите и везите на суд».

Просьбу Дукача удовлетворили; его связали и посадили в чужой хате, а на гуменник пошли всем миром откапывать Агапа.

XV

Под белым ворохом снега, покрывавшего сани, были найдены окровавленный Агап и невредимая, хотя застывшая Керасивна, а на груди у нее совершенно благополучно спавший ребенок. Лошади стояли тут же, по брюхо в снегу, опустив понурые головы за плетень.

Едва их немножечко поосвободили от замета, как они тронулись и повезли застывших кумовьев и ребенка на хутор. Дукачиха не знала, что ей делать: грустить ли о несчастьи мужа или более радоваться о спасении ребенка. Взяв мальчика на руки и поднеся его к огню, она увидела на нем крест и тотчас радостно заплакала, а потом подняла его к иконе и с

горячим восторгом, глубоко растроганным голосом сказала:
– Господи! за то, что Ты его спас и взял под Свой крест, и я не забуду Твоей ласки, я вскормлю дитя – и отдам его Тебе: пусть будет Твоим слугою.

Так дан был обет, который имеет большое значение в нашей истории, где до сих пор еще не видать ничего касающегося «некрещеного попа», меж тем как он уже есть тут, точно «шапка», которая была у Агапа, когда казалось, что ее будто и нет.

Но продолжаю историю: дитя было здорово; нехитрыми крестьянскими средствами скоро привели в себя и Керасивну, которая, однако, из всего вокруг нее происходившего ничего не понимала и твердила только одно:

– Дытына крещена, – и зовите его Савкою.

Этого было довольно для такого суматошного случая, да и имя к тому же было всем по вкусу. Даже расстроенный Дукач и тот его одобрил и сказал:

– Спасибо перегудинскому попу, що вин не испортил хлопца и не назвал его Николою.

Тут Керасивна уже совсем оправилась и заговорила, что поп было хотел назвать дитя Николою: «Так, говорит, по церковной книге идет», только она его переспорила: «Я сказала, да Бог с ними, сии церковные книги: на що вони нам сдалися; а это не можно, чтобы казачье дитя по-московськи Николою звалось».

– Ты умная казачка, – похвалил ее Дукач и наказал жене

подарить ей корову, а сам обещал, если уцелеет, и еще чем-нибудь не забыть ее услуги.

На этом пока и покончилось крестное дело, и наступала долгая и мрачная пора похоронная. Агап так и не пришел в себя: его густым столбом дроби расстрелянная голова почернела прежде, чем ее успели обмыть, и к вечеру наступившего дня он отдал Богу свою многострадавшую душу. Этим же вечером три казака, вооруженные длинными палками, отвели старого Дукача в город и сдали его там начальству, которое поместило его как убийцу в острог.

Агапа схоронили, Дукач судился, дитя росло, а Керасивна хотя и поправилась, но все не «сдужала» и сильно изменилась, – все она ходила как не своя. Она стала тиха, грустна и часто задумывалась; и совсем не ссорилась со своим Керасенко, который понять не мог, что такое подеялось с его жинкою? Жизнь его, до сих пор столь зависимая от ее настойчивости и своенравия, – стала самою безмятежною: он не слыхал от жены ни в чем ни возражения, ни попрека и, не видя более ни во сне, ни наяву рогачевского дворянина, – не знал, как своим счастьем нахвастаться. Эту удивительную перемену в характере Керасивны долго и тщетно обсуждали и на торгу в местечке: сами подруги ее – горластые перекупки говорили, что она «вся здобрилась». И впрямь, не только одного, а даже хоть двух покупателей от ее лотка с паляницами отбей, она, бывало, даже ни одного черта не посулит ни отцу, ни матери, ни другим сродникам. Про рогачевско-

го же дворянина был даже такой слух, что он будто два раза показывался в Парипсах, но Керасивна на него и смотреть не хотела. Сама соперница ее, пекарша Поднебесная, – и та, не хотя губить своей души, говорила, что слышала, будто один раз этот паныч, подойдя к Керасивне купить паляницу, получил от нее такой ответ:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.